

ЛОГИЧЕСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА
В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ» ДОСТОЕВСКОГО

Настоящая статья представляет собой часть работы, посвященной приемам идеологической полемики в «Преступлении и наказании». Общие принципы этой полемики и некоторые аргументы были рассмотрены в статьях, уже вышедших из печати.¹ Мы говорили о том, что основным приемом опровержения противника в «Преступлении и наказании», как и в других художественных и публицистических произведениях Достоевского, является довод *ex concessis* (довод из заимствования). Он означает временную уступку тому, с кем спорят (согласие с тем или иным его утверждением), и далее такое развитие чужой идеи, которое в логическом итоге оборачивается очевидной нелепостью, абсурдом. *Reductio ad absurdum* (сведение к абсурду) вскрывает не замечаемую самим говорящим ущербную противоречивость его мысли. Вот образец такого приема. Полемизируя со славянофильской газетой «День» («Два лагеря теоретиков»: *Время*. 1862. № 2), Достоевский пишет: «Все ложь, все фальшь, повторяет нам „День”. (...) И тем более досадно на это (...) обвинение в фальши всего общества, что ведь в нем скрывается глубочайшее противоречие „Дня” самому себе. Для чего, спрашивается, он издается? Конечно, для того, чтобы принести хотя какую-нибудь пользу обществу, чтоб указать ему путь к жизни, уничтожить конечно разъедающую его фальшь? Ведь не издавался бы „День”, если б фальшь до того разъела наше общество, что в нем не осталось бы никаких задатков жизни? О мертвых заботиться много нечего; с безжизненным трупом хлопотать нужно не о том, чтоб его возвратить к жизни, а поскорей убрать его из человеческого жилья, чтоб не заразились от него и живые, здоровые... Зачем же хлопочет „День” о присуждении нашего общества к жизни, о возвращении к среде народной, если, по его мнению, всё в нем ложь и фальшь?» — т. е. все мертвечина (20, 10).

Reductio ad absurdum заключает всю аргументацию автора против идеологических построений Раскольникова. Присмотримся к ним поближе.

Помимо «арифметической теории», позволяющей убить одного для благополучия многих (эта теория герою не принадлежит, она носится в

¹ *Ветловская В. Е.* 1) Способы логического опровержения противника в «Преступлении и наказании» Достоевского // *Русская литература*. 1994. № 4. С. 112—120; 2) Приемы идеологической полемики в «Преступлении и наказании» Достоевского // *Достоевский: Материалы и исследования*. СПб., 1996. Т. 12. С. 78—98 (расширенный вариант первой статьи).

воздухе, ср. трактирный разговор студента и молодого офицера — 6, 54—55), Раскольников в его «деле» воодушевляют и собственные теоретические рассуждения. Он излагает их в особой статье, уточняя и развивая свою мысль в объяснениях с Порфирием.

Мысль выражается в том, что все люди вообще делятся на «обыкновенных» и «необыкновенных». «Необыкновенный» человек, как считает Раскольников, во имя идеи («иногда спасительной, может быть, для всего человечества») «имеет право разрешить своей совести перешагнуть ... через иные препятствия» (т. е. пойти на преступление, пролить кровь). «По-моему, — рассуждает герой, — если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвовани-ем жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству» (6, 199). Иначе говоря: благая цель оправдывает любые средства (принцип иезуитов). Ценность человеческой жизни здесь относительна, ценность идеи («иногда» и «может быть» спасительной для человечества) — абсолютна. Для Раскольникова это неоспоримая аксиома. Между тем ничего неоспоримого в таком утверждении нет, оно не является аксиомой. Ведь точно так же и даже с бóльшим основанием можно утверждать противоположное: ценность идеи — относительна, ценность человеческой жизни — абсолютна (ср. размышления героя об «аршине пространства»: «Где это (...) где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда!» — 6, 123, ср. 147, 327).

Далее Раскольников говорит о том, что все «законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний (...) и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь» (6, 199—200). Более того, «все, не то что великие, но и чуть-чуть из колена выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками (...) Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было напечатано и прочитано» (6, 200).²

² О печатных источниках этих рассуждений со ссылкой на литературу вопроса см.: Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Л., 1979. С. 156 и сл.

Соображениям, уже мелькавшим в печати, Раскольников придает самый широкий смысл: «Я только в главную мысль мою верю (...) что люди, по закону природы, разделяются *вообще* на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*» (Там же). Заметим попутно, что законы природы, на которые герой ссылается и здесь, и дальше, отнюдь не являются предметом веры, они являются предметом научных доказательств; в закон не верят, его доказывают. Затем: понятию «новый» герой почему-то сообщает положительное значение. Между тем «новое» совсем не означает ни более истинного, ни более справедливого, ни более благодетельного и т. д. «Новое» есть только новое и ничего больше, оно может быть в одном, другом, третьем или во всех отношениях гораздо хуже старого.

Характеризуя указанные им разряды людей, Раскольников говорит об их правах и обязанностях (как юрист он переводит вопрос в юридическую плоскость, в область права): «Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал (...) люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение (...) Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому (...) Преступления этих людей, разумеется, относительноны и многообразны; большею частью они требуют (...) разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление» (Там же).

Оговорка о значительности идеи и размерах ее несущественна, поскольку нет инстанции, где идея могла бы быть объективно взвешена и измерена в своих размерах, нет критерия, указывающего черту, до которой еще нельзя и после которой уже можно пролить кровь. Величину идеи определяет тот, кому она принадлежит, определяет по собственному усмотрению, и, уж конечно, трудно допустить, что кто-то ошибется и преуменьшит, а не преувеличит ее размеры. Самому Раскольникову для того, чтобы пролить кровь, не понадобилась никакой идеи, кроме идеи о собственной необыкновенности. При этом он позволяет себе преступление не вследствие своей незаурядности (бесспорной в глазах всех и его самого), а лишь в надежде, в притязаниях на таковую. Ведь убийство и ограбление для героя (не только, но прежде всего) — проба, экзамен на величие: «...я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя одного! (...) Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живых соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было

быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были (...) не столько деньги нужны были, как другое (...) Мне другое надо было узнать (...) и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...» (6, 321—322). Вот почему невыдержанный экзамен, неудавшаяся проба, на взгляд Раскольникова, не означают ошибки в теории, но только свидетельствуют о его собственной несостоятельности.

Но вернемся к теории. Обоснование права на преступление, разрешение крови по совести (а не в виде уступки обстоятельствам, уступки, оставляющей преступнику сознание вины и ответственности) — вот, собственно, та новость, которую герой привносит в представление о незаурядности, более или менее сопряженной, согласно ходячему мнению, с преступными наклонностями. Ср. слова Разумихина: «...что действительно *оригинально* во всем этом, — и действительно принадлежит одному тебе (...) это то, что все-таки кровь *по совести* разрешаешь (...) В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови *по совести*, это... это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...

— Совершенно справедливо, страшнее-с, — отозвался Порфирий» (6, 202—203).

В самом деле: официальное разрешение может встретить (и непременно встретит) противодействие совести, запрещающей преступление, но если совесть позволит злодейство, то от него не уберезет никакой закон.

Разумихин продолжает: «— Нет, ты как-нибудь да увлекся! Тут ошибка. Я прочту...» (6, 203).

Раскольников действительно «увлекся». Если современная наука решила (ср. рассуждения Лужина — 6, 116), что сострадать другому не нужно, то Раскольников в этой науке идет до тех «последствий», согласно которым кое-кому можно (и нужно) убивать. Ср.:

«— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...

— Помилуйте! — вскричал Лужин» (6, 118).

Теория Раскольникова разрешает преступникам (по природе или не по природе — не важно) спокойно проливать кровь тех, кто преступниками не являются. Она разрешает злодеям убивать обыкновенных людей, т. е. тех, кто злодейству непричастен. Но ведь это абсурд, насмешка над всякой справедливостью. Правда, Раскольников поясняет: «...тревожиться много нечего: масса («обыкновенные» люди. — В. В.) никогда почти не признает за ними («необыкновенными» людьми. — В. В.) этого права (на преступление. — В. В.), казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее)» (6, 200). Но если масса «казнит» и «вешает» «необыкновенных» людей, то как раз за их преступность (или то, что в известное время и при известных условиях кажется преступным; «консервативное назначение» здесь ни при чем), и если «эта же масса» позднее «ставит

казненных на пьедестал и им поклоняется», то делает это не в честь их злодейств и кровопролитий, а вопреки им — за какое-либо благо (или то, что кажется благом в известное время и при известных условиях). Иначе говоря, хотя обстоятельства (при которых то казнят, то ставят на пьедестал) и меняются, оценка пролитой крови и преступления остается неизменной, она не относится к разряду относительных понятий, как это утверждает Раскольников. Ср. далее: «И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними («обыкновенными» людьми. — В. В.) и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет!» (6, 321). И затем: «— Брат, брат, что ты это говоришь! Но ведь ты кровь пролил! — в отчаянии вскричала Дуня.

— Которую все проливают, — подхватил он чуть не в исступлении, — которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии и называют благодетелем человечества» (6, 400). Но за пролитую кровь никого не венчают и никого не называют благодетелем.

Основное положение теории Раскольникова, являющееся для него и руководством к действию, сводится к следующему силлогизму:

Все необыкновенные люди — преступники (и могут разрешить себе пролить кровь по совести).

Х (сам герой) — необыкновенный.

Следовательно, Х может разрешить себе пролить кровь по совести.

Этот силлогизм ведет Раскольникова к убийству, а Порфирия, обдумавшего статью героя, — к предположению о том, кто был грабителем и убийцей. Причем для обоснованности предположения Порфирия несущественно, правильно или неправильно построен этот силлогизм (достаточно того, что преступник в него верит), но для Раскольникова правильность силлогизма, из которого следуют столь серьезные практические выводы, существенна в высшей степени. Между тем рассуждение героя неверно.

С одной стороны, далеко не все «необыкновенные» люди — преступники, если за словом преступление (как это и требуется) сохранять прямой смысл, а не придавать этому слову, как это делает Раскольников, слишком широкого значения, приравнивающего к преступлению любое несогласие с обыденным и привычным. Ни Кеплер, ни Ньютон, будучи великими людьми, не только не проливали кровь, но и вообще не были преступниками. С другой стороны, преступления, именно преступления (в прямом смысле) сплошь и рядом совершаются «обыкновенными» людьми. Об этом говорит Порфирий: «Но вот что скажите: чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы поболее точности, так сказать, более наружной определенности (...) Потому, согласитесь, если произойдет путаница и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет „устранять все препятствия“, как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут...

— О, это весьма часто бывает!» (6, 201). Далее герой поясняет: «...примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со сторо-

ны первого разряда, то есть „обыкновенных” людей (...) Несмотря на врожденную склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, „разрушителями” и лезть в „новое слово”, и это совершенно искренно-с. (...) Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посесть, чтобы напомнить им свое место, но не более; тут и исполнителя даже не надо: они сами себя посекут (...) Покаяния разные публичные при сем на себя налагают, — выходит красиво и назидательно, одним словом, вам беспокоиться нечего... Такой закон есть» (6, 201—202).

Начнем с конца тирады. Как далеко шагают люди, совершившие преступление (обыкновенные они или нет), зависит от обстоятельств. Сам Раскольников помимо одного — обдуманного убийства неожиданно вынужден был совершить и второе: «И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения (...) понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить...» (6, 65). Далее: «Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут» (6, 68). Затем: «Он бы, кажется, так и задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравились» (6, 195). Затем: «По временам ему хотелось кинуться и тут же на месте задушить Порфирия» (6, 262, ср.: 269). И еще: «И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере, он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать» (6, 342). Наконец: «Раскольников до того устал за все это время, за весь этот месяц, что уже не мог разрешать теперь подобных вопросов иначе, как только одним решением: „Тогда я убью его (Свидригайлова. — В. В.)”, — подумал он в холодном отчаянии» (6, 355). Раз совершив преступление, преступник в силу тех или иных причин, никак не связанных с его обыкновенностью или необыкновенностью (скажем, из чувства самосохранения, из угрозы шантажа и т. д.), может шагать в том же направлении дальше и дальше — до тех пор пока его не остановят.

Что же касается ошибки со стороны первого разряда, о которой говорит герой, то она тем более естественна, что из-за отсутствия каких бы то ни было природных «знаков» необыкновенности решение на этот счет (как и в случае размеров идеи, «нового слова») каждый выносит сам. Но многие ли согласятся с собственной обыкновенностью? Ведь даже Лужин (сама ординарность и «общее место» — 6, 116) и тот способен на «подвиги»: «Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренно (...) А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен (...) И тем

не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, возлелеянную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг» (6, 235). Признание в собственной обыкновенности уже свидетельствовало бы о некоторой незаурядности. Между тем Раскольников, отвечая на вопрос Порфирия: «...много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, „необыкновенных-то“ этих?» — говорит: «О, не беспокойтесь и в этом (...) Вообще людей с новой мыслию, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь *новое*, необыкновенное мало рождается (...) Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений, должно быть, весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным». И далее: «Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы наконец, чрез какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить наконец на свет, ну хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один (...) Еще с более широкою — из ста тысяч один. Гениальные люди — из миллионов, а великие гении, завершители человечества, — может быть, по истечении многих тысяч миллионов людей на земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть; тут не может быть случая» (6, 202).

Однако если такой закон и есть, он не имеет никакого отношения к делу. Ведь объективная (природная) необыкновенность и обыкновенность, с одной стороны, и, с другой — мнение каждого на этот счет не совпадают, а для практических выводов, о которых беспокоится Порфирий, только это мнение и важно. Следовательно, вопреки утверждению Раскольникова, разряд необыкновенных людей, т. е. думающих, что они необыкновенны, расширяется настолько, что обыкновенных людей почти не остается (да и те в качестве обыкновенных тотчас оказываются под вопросом). Ср.: «Ведь вот-с, когда вы вашу статейку-то сочиняли, — ведь уж быть того не может, хе-хе! чтобы вы сами себя не считали, ну хоть на капельку, — тоже человеком „необыкновенным“ и говорящим *новое слово* (...)

— Очень может быть, — презрительно ответил Раскольников (...)

— А коль так-с, то неужели вы бы сами решились (...) перешагнуть через препятствие-то?.. Ну, например, убить и ограбить? (...)

— Позвольте вам заметить, — отвечал он сухо, — что Магометом или Наполеоном я себя не считаю... ни кем бы то ни было из подобных лиц, следственно, и не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил.

— Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? — с страшною фамильярностию произнес вдруг Порфирий» (6, 204).

Но что же получается с силлогизмом Раскольникова при необходимой поправке, учитывающей реальную ситуацию и ту путаницу в разрядах, с возможностью которой согласен и сам герой? Этот силлогизм должен выглядеть так:

Кто-то из необыкновенных людей и кто-то из обыкновенных — преступники.

Допустим, X (сам герой) — необыкновенный.

Выходит...

Но из связи этих двух положений ровно ничего не выходит, так как в данном случае X может быть преступником, а может им и не быть, и соответственно — может позволить себе пролить кровь и не может. И так же обстоит дело, если X — человек обыкновенный. Само преступление при этом не способно служить проверкой, пробой на необыкновенность именно потому, что его может совершить человек и того и другого разряда. Да и какую необыкновенность оно могло бы в принципе или подтвердить, или обнаружить? в какой сфере деятельности (научной, политической, военной и пр.)? Ни в какой. И никакую. Разве лишь ту, которая отличает любого преступника от всех прочих — от тех, кто не совершает преступлений. Вот и все.

Как видим, помимо разрядов, делящих людей на необыкновенных и обыкновенных, существуют другие разряды, где это деление теряет смысл. Так, более или менее неважно, «необыкновенный» или «обыкновенный» человек Раскольников. С тех пор как он совершил преступление, он прежде всего — преступник (к этому и сводится его «необыкновенность» для начала), а остальные — нет (они просто люди, обыкновенные люди). И если у него есть право (весьма сомнительное) убивать и грабить, то у них есть несомненное право презирать и третировать его как грабителя и убийцу. Ведь «необыкновенность» героя — пока его личное мнение, но то, что он преступник, — уже факт. Герой становится жертвой собственного злодейства: допустив его, он вступает в особые разряды: преступников — не преступников, преследуемых — преследователей, жертв — палачей... К этому и сводится вся новость его «новой жизни», о которой он мечтал и которая неожиданно обернулась весьма незавидной реальностью: «А черт возьми это все! — подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. — Ну началось, так и началось, черт с ней и с новой жизнью!» (6, 86). Именно как преступника (более или менее обыкновенного) и воспринимает Раскольникова Порфирий. Отсюда его «нескрываемая, навязчивая, раздражительная и невежливая язвительность» (6, 202) и то спокойное высокомерие, которое идет из чувства собственного превосходства по отношению к тому, чья глубокая ущербность для него не составляет тайны. Отсюда и вся власть Порфирия над героем, не находящим в себе сил ей не повиноваться.

В теории Раскольникова обыкновенные люди разрешают себе пролить кровь только по ошибке, тогда как необыкновенные люди делают это, так сказать, не ошибаясь. Но настолько ли отличаются «необыкновенные» от «обыкновенных», что имеют право их резать? (Неважно, по каким соображениям. Ведь в конце концов размеры идеи, ее величину определяет, как говорилось, каждый сам. Начав со счастья человечест-

ва, почему бы не резать другого за то, что он это человечество не слишком украшает, и вообще за то, что он «обыкновенный». Ведь этих «обыкновенных» много и все они одинаковые — сотней больше, сотней меньше; тысячей больше, тысячей меньше — какая разница?) Так вот: существует ли такая уж непроходимая грань между «необыкновенными» и «обыкновенными» людьми, что одни могут счесть других за ничто и, никого не спрашивая, отправлять их куда-то «к черту» (6, 67)? Сам Раскольников говорит о бесконечных подразделениях между известными разрядами. Следовательно, непроходимой и даже четкой грани тут нет. Но оставим пока в стороне эти подразделения.

Как бы ни были одни «необыкновенны», а прочие — нет, те и другие прежде всего — люди (такова их общая порода в классификации живых существ), а не вши и не тараканы (иначе бы они в этом качестве и явились). Ср.: «Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную» (6, 320), и ранее разговор студента и молодого офицера: «Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна (...)

— Конечно, она недостойна жить, — заметил офицер, — но ведь тут природа.

— Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было. Говорят: „долг, совесть“, — я ничего не хочу говорить против долга и совести, — но ведь как мы их понимаем?» (6, 54).

Существуют законы природы, которые отделяют любого и каждого человека от всякого другого разряда живых существ. Человеческая порода — вот главная и общая всем людям «необыкновенность», уже при рождении удостоверяемая соответствующими «знаками» и «наружной определенностью». Если же человека приравнять вши или таракану, иначе говоря: если разряды живых существ, данные самой природой, поправлять, направлять и тасовать как угодно ввиду того, что эти разряды (при всех их несомненных «знаках» и «определенности») — предрассудок, то, спрашивается, что же тогда вообще не предрассудок? Неужели «совесть» и «долг»? В данном случае против долга и совести ничего и говорить не надо (ср.: «я ничего не хочу говорить против долга и совести»), так как и сказать нечего — все сказано.

Тот, кто приговаривает другого к смерти на том основании, что он вошь или таракан, что он нелюдь, сам исключает себя из разряда людей. Однако для Раскольникова нелюдьми оказываются даже не единицы, а все обыкновенные люди — те, кого он называет «материалом». В этом смысле характерны его оговорки: «...люди, по закону природы, разделяются (...) на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей...» (6, 200), и далее: «Мне другое надо было узнать (...) вошь ли я, как все, или человек?» (6, 322). Но откуда следует, что «обыкновенный» человек уже и не человек? что он «вошь» не только фигурально, но и буквально? Безусловно, Раскольников слишком «увлекся». В своей «необыкновенности» он устраивается

на месте Господа Бога, присваивая себе право суда, право жизни и смерти, а других (огромное большинство людей) вообще выводит из границ человеческого рода. Он своевольно перераспределяет разряды самой природы.

Но, начав с таких капитальных поправок в очевидных законах природы (со всеми их «знаками» и «наружной определенностью»), незачем ссылаться на законы, которых пока никто не знает, незачем ссылаться на законы природы вообще. Ведь эти законы для Раскольникова, так сказать, не закон, а следовательно, логичнее было бы о них не волноваться и пропустить без всякого упоминания. Тем не менее такие ссылки герою нужны: в его теории они служат основанием для разрешения крови по совести. Однако здесь, как видим, они неправомерны, они смешны.

Достоевский опровергает теорию героя пункт за пунктом. Приведем еще некоторые аргументы.

Раскольников разрешает преступление по совести людям необыкновенным. Но почему? Гораздо правильнее было бы разрешить преступление по совести людям ничем не примечательным — по крайней мере такое преступление, которое совершает сам Раскольников. Ведь он идет на убийство и ограбление не только ради пробы и эксперимента, но и ради денег, которые ему необходимы «для первого шага» (ср.: «...возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику: из всех вшей выбрал самую наименее полезную и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше...» — 6, 211), необходимы для того, в частности, чтобы как можно скорее могли проявиться отпущенные ему природой незаурядные способности. Но, разумеется, деньги гораздо необходимее тому, кому таких способностей не отпущено вовсе (например, Лужину). Деньги нужны необыкновенному человеку ввиду его необыкновенности. И еще нужнее обыкновенному человеку ввиду его обыкновенности (мы уже не говорим о той нужде, которую испытывает бедность и нищета, страдающая от сплошной нехватки).

Деньги равняют ординарность с любой неординарностью. Чем больше денег, тем больше возможности сравняться. Более того, они всякую «необыкновенность» превосходят, так как необыкновенному человеку при всей его необыкновенности без денег все-таки не обойтись, а обыкновенный человек, имея деньги, приобретет на них ту незаурядность, какую хочет (надо только, чтобы эта незаурядность извела нищету и в ожидании лучшего где-нибудь пока «пресмыкалась втуне»). Так, Лужин, поостыв от неудачи и набравшись опыта, безусловно найдет себе невесту вроде Дунечки, «да, пожалуй», как он сам выражается, «еще и почище» (6, 277). Любая обыкновенность превосходит любую необыкновенность на всю величину своего капитала. Ведь Раскольников, добыв деньги у старухи с соблюдением «веса и меры, и арифметики», может проявить свои способности, помочь матери и сестре в пределах украденного, и только. Между тем Лужин уже и сейчас вполне способен при желании, не занесись он слишком высоко раньше времени и срока, обеспечить Дунечку, Пульхерию Александровну и самого Раскольникова. Таким образом, добыв деньги, Раскольников

остается «необыкновенным» им в размер. А тот, кто имеет их больше, «необыкновеннее» его на всю разницу этих денег. Иначе говоря, ситуация для Раскольникова оказывается примерно такой же, какой она была вначале, когда у него были одни копейки. Да и независимо от разницы в капиталах такой ли уж «необыкновенный» Раскольников в сравнении хотя бы и с Лужиным? Раскольников и Лужин, с одной стороны, и Раскольников и Свидригайлов — с другой, — уж конечно, «одного поля ягоды» (6, 221). Все они отправляются от общей точки — любви к себе прежде чем к кому бы то ни было. Относительно Лужина и Свидригайлова это очевидно. Но так же обстоит дело и с Раскольниковым. Одной мысли о том, что можно убить другого для проверки каких-то своих способностей, в этом смысле уже достаточно. Раскольников сочиняет теории. Лужин никаких теорий не сочиняет, а прямо начинает с избитого положения современной «экономической науки»: «...возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано» (6, 116). Отправляясь из общей точки, Раскольников и Лужин идут общей дорогой: тому и другому нужны деньги для собственной пользы и выгоды. Но по части добывания денег, собственной пользы и выгоды Лужин безусловно превосходит Раскольникова. Идя с ним общей дорогой, Лужин никогда не переступит черту, за которой более или менее один путь — на каторгу. Именно Лужин и старается со всею осторожностью (см.: 6, 278—279) соблюсти «вес и меру, и арифметику». И действуя так, он, разумеется, обнаруживает больше, чем теоретизирующий герой, если не ума, то здравого смысла, а в данной ситуации одно другого стоит. В самом деле, о какой «мере», о каком «весе» и «арифметике» можно говорить, начав с убийства? Снявши голову, по волосам не плачут. Разрешив себе перейти всякую черту и меру и продолжая хлопотать о них, Раскольников решительно не ведает, что творит, и беспокоится о сущих предрассудках. Уж если убил (и, заметим, убил для грабежа), то почему бы подчистую и не ограбить? так сказать, воровать — так воровать не для одного лишь «первого шага», но по возможности и для прочих, а иначе чего из-за пустяков и кровавиться? Ср.: «Старушонка вздор! — думал он горячо порывисто, — старуха, пожалуй что, и ошибка...» (6, 211). Действительно, можно было бы найти «дело» и покрупнее. Да и в этом «деле» уж если разрешил себе кровь, то можно было бы и не мелочиться. «Ошибка» Раскольникова тут именно в том, что он разрешил себе убийство, так сказать, «по совести», т. е. с известным «весом и мерой, и арифметикой», с некоторой оглядкой на справедливость и Провидение (6, 211), тогда как по совести вернее было бы соблюсти «вес» и «арифметику» в полной мере и совсем не убивать (как Лужин), а если уж убивать, то без всякой меры и совести (как Свидригайлов). В данном случае не то что Свидригайлов, но даже Лужин, несмотря на свою обыкновенность, и, как ни странно, именно в силу этой обыкновенности оказывается необыкновеннее Раскольникова: в отличие от него, он и деньги добыл, и цел остался. Так ведь в этом больше пользы и выгоды — той пользы и выгоды, о которых они оба хлопочут.

Деньги — вот преимущество, которое любому человеку дает или заменяет необыкновенность. Оно дает и власть. Сладость власти, в

противоположность тому, что утверждает Раскольников (ср.: 6, 200), знакома людям не только высокого, но и самого низкого полета. Более того, для посредственности составляет особое удовольствие держать в повиновении неординарность. Ср. размышления Лужина в связи с женитьбой на Дунечке: «Давно уже, уже несколько лет, со сластиею мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял, в глубочайшем секрете, о девице благонравной и бедной (непреренно бедной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему, и только ему одному. (...) И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась: красота и образование Авдотьи Романовны поразили его; беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал: явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его (он чувствовал это), и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать!..» (6, 235). Низвести необыкновенного человека до степени «вши», им помыкать и им командовать — уж конечно, большее наслаждение, чем помыкать и командовать какой-нибудь смиренной душой, готовой в любом и каждом видеть над собою превосходство. А между тем и это наслаждение вполне доступно не то что посредственности, но и ничтожеству благодаря тому преимуществу, которое дают деньги.

Но необыкновенность и вообще есть не что иное, как то или другое преимущество. Если так, то почему бы в таком случае не начать и кончить преимуществом чисто животной хитрости и силы? Тогда в ситуации: Свидригайлов и крепостной лакей его Филипп; Свидригайлов и погубленная им девочка; Свидригайлов и Дунечка и т. д. — Раскольников, будь он верен своей теории, должен держаться стороны Свидригайлова (вспомним в этой связи эпизод с пьяной девочкой на бульваре и слова героя: «Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?» — 6, 42; эти слова более логичны для автора статьи о преступлении, чем все его подаяния).

Правда, согласно теории Раскольникова, для того чтобы позволить себе преступление, одной необыкновенности мало; должна быть при этом какая-нибудь благая мысль, идея.

Но почему же должна? Из чего это следует? Если главное для каждого человека — он сам и любовь к себе прежде любви к кому бы то ни было (а это главное и для Раскольникова), то каждый сам и определяет ценность не только той или другой идеи, но и вообще идеи: важна она или нет, ценна она или ничего не стоит. Ведь почтение к идее едва ли коренится в каком-нибудь известном или неизвестном законе природы — в отличие от желаний и страстей. Поэтому любая идея в принципе ничуть не лучше желания, сильной страсти и сплошь и рядом этой же, как говорит Свидригайлов, «страсти служит» (6, 215). Следовательно, «я хочу» — и этого довольно для оправдания всякой

крови и всякого преступления. Ведь один хочет проверить свою необыкновенность и способность властвовать, поэтому идет и убивает; другой хочет есть и пить (желание более понятное простой душе); третий еще чего-нибудь хочет... Важно хотеть. И быть готовым осуществить это хотение любой ценой. Хотя бы и через кровь. Вот и все.

Но присмотримся к тем бесчисленным подразделениям между «обыкновенными» и «необыкновенными» людьми, о которых рассуждает Раскольников, и их градации. Напомним: «Подразделения тут, разумеется, бесконечные...» (6, 200). Что из этого следует? Из этого следует то, что есть более «необыкновенные» и менее (герой сам говорит об этом). Так ведь для того, кто более «необыкновенный» (а это решает каждый сам), менее «необыкновенный» — уже «вошь», ибо как различить чужую «необыкновенность», если она, так сказать, целиком покрывается и закрывается твоей собственной? Выходит: любой «необыкновенный» одновременно для кого-то «вошь» и любая «вошь» — для кого-то «необыкновенна». Так, для Раскольникова старуха процентщица — худшее из ничтожеств и никаких не имеет прав (начиная с права жизни), но для ее сестры Лизаветы она, разумеется, «необыкновенна» и все права имеет (не только на собственную жизнь, но и на чужую — жизнь самой Лизаветы). Отсюда вся безграничность Лизаветиного послушания.

Далее. Один «необыкновенен» в одном, другой — в другом. Поскольку величину и размеры «необыкновенности» каждый определяет сам, то любой «гений» для другого «гения» (в какой-нибудь иной сфере и области) в принципе может быть все равно — «вошь». Стало быть, допустимо «по совести» убить и любого «гения». Да и разные бывают ситуации, при которых всякий «необыкновенный» действительно может оказаться в том или другом смысле хуже любой посредственности. Мы говорили о Лужине и Раскольникове. Но вот Раскольников и Порфирий. Раскольников, например, как преступник — сама бездарность (огрابت не сумел, да и убить не сумел, — это мнение всех и его самого — 6, 117, 347, 211 и др.); а следователь по его делу весьма и весьма необыкновенный. И вышло, что Раскольников («великий человек», «гений» — допустим это) очутился в ситуации, где он если и не «вошь», то «муха» и «мышь», а Порфирий — «паук» и «кошка». На всякого «гения», т. е. «паука» и «кошку», разумеется, найдутся «паук» и «кошка» покрупнее (именно эту мысль передают перекликающиеся мотивы выхода Раскольникова из дома на «дело», его отношения со старушонкой и затем его отношения с Порфирием). Следовательно, с бесконечными подразделениями в теории Раскольникова ничего не получается. Вернее, получается так, что эти подразделения — не столько между людьми (как объясняет Раскольников), сколько внутри каждого. Но тогда, расправляясь с «вошью», каждый может «по совести» начать с самого себя (или, почитая свою и чужую незаурядность, оставить всех, т. е. себя и других, в покое).

В теории Раскольникова такая бесконечная дробность подразделений, начинающихся с любой раздваивающейся души, не предполагается. Предполагается, напротив, более или менее ясное разделение людей по указанным разрядам. Допустим. Логика иерархического восхождения от

«обыкновенных» людей к более и более «необыкновенным» такова, что она дает право одному (самому необыкновенному) расправиться со всеми остальными (т. е. человечеством в целом) «по совести». Надо ли говорить, что «самым необыкновенным» может счесть (и при случае сочтет) себя любой и каждый? Теория Раскольникова, если додумать ее до конца (чего герой не делает), дает право или убивать всех по совести и без разбора (ведь всякий «гений» для кого-то «вошь» либо «вошь» в каком-нибудь отношении), или не убивать никого вообще, включая самых обыкновенных и, так сказать, «вшивых». Почему? Потому, в частности, что в сложной комбинации перекрещивающихся родов и пород, необходимых природе для создания величайшего гения, может не хватить как раз того «материала», который был заключен в ком-нибудь из тех, кто уничтожен за свою обыкновенность. Замыкая мысль героя в рогатку этой дилеммы (или всех убивать, или никого), Достоевский ведет ее к абсурду.

Все эти и другие аргументы важны, если придерживаться той точки зрения, что преступление нуждается в теоретическом оправдании. Так думает Раскольников. Но ведь это «Шиллер», т. е. известный идеализм. Возможна точка зрения, при которой преступление ни в каком оправдании не нуждается. И, надо сказать, логически она гораздо менее уязвима. Но соображения, высказанные в романе в этой связи, мы здесь опустим.